

ХОРХЕ
ЛУИС
БОРХЕС



Избранные стихотворения

Серия "Licentia Poetica"

ХОРХЕ
ДНС
БОРХЕС



Избранные стихотворения

"Carte Blanche"
Москва 1993

ББК 84.70 Ар
Б 83

Перевод с испанского Бориса Дубина

Всемирно признанная проза Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986) заслонила от многих его поэзию. Между тем, аргентинский мастер начинал стихами, считал себя прежде всего читателем, затем — поэтом и только потом — прозаиком, да и последняя его прижизненная книга оказалась стихотворной. Начиная с 70-х гг. поэзию Борхеса активно переводят на все языки мира. Его лирика ориентирована на европейскую, прежде всего — английскую барочную традицию, строга по стихотворной форме (сонет, стансы). В центре ее — вероучители, воины и поэты разных стран и эпох, вещные символы, останки различных цивилизаций, объединенные темой сознания, тоскующего по непрожитому, ищущего себя в сновиденном лабиринте пространств и времен.

В настоящее издание вошли произведения зрелого периода — стихи из четырех сборников 60-х — начала 70-х гг., когда потерявший зрение Борхес обращался преимущественно к поэзии.

ISBN 5-86661-011-6
Н34(03)

© Б. Дубин. Составление, перевод, 1993
© Ю. Ярин. Оформление, 1993

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Джон Китс в одном из писем признал, что поэт — самое антипоэтическое существо в мире и нет у него ни своего характера, ни личности. Что уж тогда говорить о биографии? Внешний рисунок «жизни» поэта редко выглядит впечатляющим и в качестве ключа к «творчеству» не годится. Борхес прожил очень долгую жизнь, но собственно анкетный перечень ее событий вряд ли займет больше нескольких строк. Да и они будут в основном библиографией изданных книг и списком наград и почетных званий.

Другое дело — опорные символические точки существования, приоткрывающаяся в них смысловая связь. Тут, скажем, сонет Малларме памяти Эдгара По точней и прозорливей, чем замечательная в своем роде многостраничная биография американского визионера, вышедшая из-под кропотливого пера Артура Кунна. Применительно к Борхесу, таких «узлов», по меньшей мере, два.

Первый — на границе между любимой семьей, ветвью старого аргентинского (полуиспанского, полуанглийского) рода правоведов, дипломатов и воинов, и выходом в самостоятельную жизнь. Этот перелом от отрочества к юности для Борхеса оказался путем в Европу: семья приехала на несколько месяцев отдохнуть в Швейцарию, где и осталась на годы замурована мировой войной. И события этой войны, и Женева и Цюрих с озером, над которым стояли войска Цезаря, и тогдашнее чтение (латинские классики, французская «чистая поэзия», немецкий экспрессионизм, Кафка и Мейринк), и дружеские связи той поры многократно всплывают потом в борхесовских книгах. Второй «узел» — наступившая между концом тридцатых и началом пятидесятых слепота, совпавшая с кризисом зрелости. Она могла остаться случайным событием и жизненной драмой, а стала своеобразным пророчеством, вехой другого пути. Ослепли во второй

половине жизни любимые бабка и отец Борхеса, но это для писателя было меньше всего «физическим» происшествием: в образах знаменитых слепцов — перса Аттара, греков Гомера и Демокрита, англичанина Мильтона — слепота осмыслиется в духе старой традиции «умного зрения». Об этом — книга «Хвала тьме» и поздняя лекция «Слепота».

Если же говорить о внутреннем смысловом центре поэзии (да и прозы) Борхеса, то я бы предложил искать его на скрещении вот каких осей. Одна — соединяет полюса множественности и единства мира: зачем он так разнообразен и переменчив, и есть ли в этой неуловимой пестроте некая общность и связь? Другая ось — между полюсами предопределенности и случайности: чем держится это хрупкое единство, насколько защищено оно от хаоса и подвластно воле?

Время — едва ли не главное слово у Борхеса — символизирует всегда стоящее под вопросом, неустанно взыскиваемое единство мира и вмещающего (или строящего?) его сознания. А потому время — это и память, и переименование прошлого, его забвенье. Мир же — то зеркало, механически повторяющее лица и вещи, то манящий недостижимым центром лабиринт, где ждет неминуемая и недоступная воображению гибель-разгадка (хранитель лабиринта Минотавр и его губители Тесей и Ариадна, как известно, одной крови...).

Но таковы именно границы личности, подстерегающие ее опасности распада. Вселенная же Борхеса, если и трагична (он, впрочем, не склонен применять это слово к новейшему времени), то не угрюма. Не случайно у позднего Борхеса так часты слова «скромность» (смирение) и «счастье» (любовь, общность). Читая его, важно не терять из виду той точки, где каталог имен и цитат переходит в мгновенную слитность смысла, а безостановочное время — в минутную, рукотворную вечность. Ее вещей след — метафора.

Из сборника «СОЗДАТЕЛЬ» (1960)

ЛУНА

Не помню, где читал я, что в туманном
Прошедшем, когда столькое свершалось,
Присочинялось и воображалось,
Задался некто необъятным планом —

Все мироздание вместить до точки
В единый том и, тягостно и много
Трудясь над книгой, подошел к итогу
И шлифовал слова последней строчки.

Но только по случайности, из теми
Вдруг выхватив глазами закругленный
Рожок луны, он понял, посрамленный,
Что позабыл луну в своей поэме.

Пусть выдуман рассказ, но из бывшего
Он нам донесит что-то вроде притчи
О том, как безнадежен наш обычай
Свою судьбу разменивать на слово.

Суть ускользает. Этой потайною
Ущербностью отмечена любая
История, увы, не исключая
И всех моих несчетных встреч с луною.

Где в первый раз я видел диск чеканный?
Не помню. Может, в прежнем воплощенье
Из греческого старого ученья?
Во дворике у смоквы и фонтана?

Есть в жизни среди многого, что было,
Часы других отрадней и роднее, —
Таков был вечер, когда вместе с нею
Смотрели мы на общее светило.

Но ярче виденного въяве света
Огонь стихов: не знавшая пощады
Та драгон тооп из колдовской баллады
И месяц, кровеневший у Кеведо.

Луна была кровавою и алой
И в Иоанновом повествованьё —
Той книге ужаса и ликованья,
Но все же чаще серебром сияла.

Оставил Пифагор своей рукою
Посланье кровью на зеркальной глади,
А прочитали (по преданью), глядя
В луну, как будто в зеркало другое.

Все злее и громадней год от года
Волк, скрывшийся за чащею стальною,
Чтоб наконец расправиться с луною
В заветный час последнего восхода.

(Об этой тайне помнит Север вещий,
И в тот же страшный день светил померкших
Опустошит моря нечеловечий
Корабль, что слажен из ногтей умерших.)

В Женеве или Цюрихе, к поэтам
Причисленный судьбой, без промедленья
Я принялся искать определенья
Луны, себя измучив тем обетом.

Трудясь без отдыха, как все в начале,
Я истощал реестрик небогатый,
Боясь, что у Лугонеса¹ когда-то
Янтарь или песок уже мелькали.

Из кости, снега (и другого сора)
Сменялись луны, освещая строки,
Которые, конечно же, в итоге
Так и не удостоились набора.

Мне чудилось: поэт между живыми —
Адам, что с несравненно свободой
Дарит вещам земного обихода
Единственное подлинное имя.

От Ариоста я узнал чуть позже,
Что на Луне есть все, чему возврата
Нет, — канувшее время, сны, утраты
И обретенья (что одно и то же).

Я различал трехликую Диану —
Итог Аполлодорова урока;
Гюго дарил мне серп златочеканный,
Один ирландец — черный символ рока.

Пока же, наклонясь над этой бездной,
Вылавливал я луны мифологий,
Я мог увидеть, вставши на пороге,
Ежевечерний диск луны небесной.

Теперь я знаю: есть одно земное
И ей лишь подобающее имя.
Разгадка в том, чтоб, не томясь другими,
Смирненно называть ее луною.

¹ Лугонес Леопольдо (1874—1938) — аргентинский поэт и прозаик, основоположник новейшей словесности. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.*

И не перебирая под рукою
Метафоры, одна другой неверней,
Гляжусь в таинственный, ежевечерний
Диск, не запятнанный моей строкою.

Вещь, слово ли, луна — один из знаков
В запутанном писании вселенной,
Куда включен любой земной и бранный
Удел, неповторим и одинаков.

Она — всего лишь символ меж иными,
Судьбой ли, волей данный человеку,
Который только по скончанье века
Напишет свое подлинное имя.

К ПОРТРЕТУ КАПИТАНА ИЗ ВОЙСК КРОМВЕЛЯ

Не овладеть твердыней крепостною
Внимающему горней литургии.
Другие зори (и века другие)
Пронзает взгляд, воспитанный войною.
Тверда рука, застыв на рукоятке.
В зеленых долах — кровь и рокот боя.
Британия во мгле перед тобою,
Сиянье славы, конь и век твой краткий.
Мой капитан, труды — бесследней дыма.
Назначен срок и рвению, и латам,
И всем нам, исчезающим с закатом.
Все кончено и впредь необратимо.
Сталь твоего врага давно истлела.
Ты тоже пленник своего удела.

ДРУГОЙ ТИГР

And the craft that createth a semblance.
Morris. Sigurd the Volsung¹
(1876)

Мне снится тигр. Ложится полутьма
На кропотливую библиотеку
И раздвигает полки и столы:
Безгрешный, мощный, юный и кровавый,
Вот он, бредущий лесом и зарей,
След оставляя на зыбучей кромке
Реки, чьего названья не слышал
(Он ни имен не знает, ни былого,
Ни будущего — только этот миг).
Он одолеет дикие просторы
И различит в пьянящем лабиринте
Пахучих трав дыхание зари
И несравненный запах оленины.
Я вижу сквозь бамбуковый узор
Узор на шкуре и костяк под этим
Сокровищем, ходящим ходуном.
Но понапрасну линзы океанов
Сменяются пустынями земли:
С далекой улицы большого порта
Америки я исподволь слежу
За полосатым тигром гангских плавней.
Во сне смеркается, и понимаю,
Что хищник, вызванный моей строкой, —
Сплетенье символов и наваждений,
Простой набор литературных тропов
И энциклопедических картинок,
А не зловещий, неизбежный перл,
Что под луной и солнцем исполняет

¹ И мастерство, творящее подобья. — Моррис «Сигурд Вэльсунг» (англ.).

В Бенгалии и на Суматре свой
Обряд любви, дремоты и кончины.
И против тигра символов встает
Живой, гудящий колокольной кровью
И расправляющийся с бычьим стадом
Сегодня, в этот августовский день.
Он переходит луговину мерным
Видением, но только упомянешь
Или представишь весь его уклад,
Как снова тигр — создание искусства,
А не идущий луговиной зверь.

Еще попытка. Думаю, и третий
Останется всего лишь порождением
Сознания, конструкцией из слов,
А головокружительного тигра,
Вне мифов рыщущего по земле,
Мне не достигнуть. Может быть. Но что-то
Толкает снова к странному занятию
Без смысла и начала, и опять
По вечерам ищу другого тигра,
Недосягаемого для стиха.

ВОСПОМИНАНИЕ О СМЕРТИ ПОЛКОВНИКА ФРАНСИСКО БОРХЕСА (1833—1874)

Он видится мне конным той заветной
Порой, когда искал своей кончины:
Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,
Пребудет этот — горький и победный.
Плывут, отсвечивая белизною,
Скакун и пончо. Залегла в засаде
Погибель. Двигается с тоской во взгляде
Франсиско Борхес пустошью ночною.

Вокруг — винтовочное грохотанье,
Перед глазами пампа без предела, —
Все, что сошлось и стало жизнью целой:
Он на своем привычном поле брани.
Тень высится в эпическом покое,
Уже не досягаема строкою.

ЛУИСУ ДЕ КАМОЭНСУ

Года без сожаления и мести
Сломили сталь героев. Жалкий нищий,
Пришел ты на родное пепелище,
Чтобы проститься с ним и жизнью вместе,
О капитан мой. В колдовской пустыне
Цвет Португалии полег, спаленный,
И вот испанец, в битвах посрамленный,
Крушит ее приморские твердыни.
О, знать бы, что у той крошечной влаги,
Где завершаются людские сроки,
Ты понял: все, кто пали на Востоке
И Западе земли, клинки и флаги
Пребудут вечно в неизменном виде
В твоей вновь сотворенной «Энеиде».

ОДА, НАПИСАННАЯ В 1960 ГОДУ

Закон ли тайный или явный случай,
Свершая мой сновиденный удел,
Велят, незаменимая отчизна,
Наполнившая срамом и величьем
Сто пятьдесят невыносимых лет,
Чтоб, капля, я воззвал к тебе, стремнине,
Чтоб, миг, заговорил с тобою, время,
И в задушевный разговор влились
Обряд и мрак, возлюбленный богами,
И храмовая чистота стиха?

Я, родина, искал тебя в руинах
Окраинных бездонных вечеров,
В репье, ветрами пампы занесенном
На лестницу, в невозмутимых ливнях,
В неторопливом обиходе звезд,
В руке, пощипывающей гитару,
В могучем притяжении степей,
Которые владеют нашей кровью,
Как море — саксами, в благочестивых
Крестах и чашах родовых могил,
В еще девичьей нежности жасмина,
В серебряной монетке, в шелковистом
Прикосновении немой каобы,
Во вкусе мяса, в сладости плода,
В двухцветном флаге над щипцом казармы,
В заношенных легендах о ноже
И винной стойке, в тысячах закатов,
Ушедших и осиротивших взгляд,
В поблекших за лета воспоминаньях
О двориках, где слуги носят имя
Своих хозяев, в нищенских страницах
Книг для слепых, развеянных огнем,
В неумолкающем паденье ливней
Того эпического сентября¹,
Какого не забыть, но это ворох
Едва ль не чуждых знаков и имен.

Ты больше верст своих безмерных далей
И дней твоих неизмеримых лет.
Ты больше, чем невысказанное море
Твоих родов. Нам не узнать, какой
Ты видишься Творцу в животворящем
Сиянии предвечных образцов,

¹ Многократно вспоминаемый Борхесом сентябрь 1955 года, конец диктатуры Перона.

Но мы, неистребимая отчизна,
Живем и умираем, вызывая
Твой сокровенный и слепящий лик.

АРИОСТ И АРАБЫ

Кому по силам книга? Для начала
Достойной книги требуются зори,
А к ним — века, сражения и море,
Чтоб сталкивало всех и разлучало.

Так думал Ариост и с наслажденьем,
Пустив коня по вековым просторам
Гробниц и сосен, возвращался взором
К стократно перевиданным виденьям.

Италия была на то мгновенье
Край призраков, которые, подъявля
Клинок, за веком век трудивший землю,
Переплетали с памятью забвенью.

Бредя по Аквитании, попали
Полки в засаду под крутой горою, —
Отсюда сновиденье о герое,
Мече и звуке рога в Ронсевале.

Божков и стяги сакс, от века хмурый,
Восставил над английскою странюю,
Придя тупой и грозною войною, —
Отсюда сон про короля Артура.

Под блеклым солнцем северного края
Родился сон, в котором спит подруга,
Не покидая огненного круга
И суженого верно ожидая.

Не знаю, на Парнасе иль Востоке
Родился сон, в котором конь крылатый
По небу скачет в сторону заката,
А на коне летит колдун жестокий.

И Ариост как будто с колдовского
Коня смотрел на царствие земное,
Измеренное вечною войною
И юной страстью, рушащей оковы.

И мир для зачарованного взора
Цвел дивным садом в золотом тумане,
Сливаясь за невидимую гранью
С садами Анжелики и Медора.

Мелькали, словно призрачные клады,
Что в Индостане навевает опий,
Любовные утехи и разлады
В его поэме, как в калейдоскопе.

И в колкости, и в страсти несравнимый,
Он сам стыдился собственного пыла,
Придумав замок, все в котором было
(Как в жизни) притягательно и мнимо.

Как всем поэтам, рок или фортуна
Не пожалели редкостного дара
Ему, скакавшему своей Феррарой
И, вместе с тем, далекой кромкой лунной.

Из невесомой ржави сновиденья
И слякоти сновиденного Нила
Его воображенье сотворило
Великолепное хитросплетенье —

Меандр, алмаз, где, гранями прямыми
Идя, опять окажешься в начале,
Чтоб с музыкой, не знающей печали,
Плутать, позабывая плоть и имя.

Европа чуть не сгнула бесследно,
В тот лабиринт заведена азартом:
Сам Мильтон мог рыдать над Брандимартом
И сокрушаться о Далинде бедной.

Бог с ней, Европою! Дары иные
Гигантский сон без края и без срока
Оставил обитателям Востока,
Где спят пески и бродят львы ночные.

О шахе, что опять казнит бесстрастно
Царицу после сладостного мига,
Нам и сейчас рассказывает книга,
Чье колдовство столетьям неподвластно.

Крыла из мрака, птичьи лапы с целым
Слоном, чертящим небо на закате;
Магнит-гора, чье пылкое объятье
Таит в себе погибель каравеллам;

Земля, стоящая на холке бычьей,
А бык — на рыбе; тайные реченья,
Скрывающие силу превращенья
Скалы — в пещеру с золотой добычей, —

Народам снились, что сродни потопу
Прошли по стольким городам и странам,
И сон, который виделся тюрбанам,
Верней клинков завоевал Европу,

И Ариост, над чьей любой страницей
Неспешными и праздными часами
Позабывались, грезя чудесами,
Стал сон, который никому не снится.

Застывший у черты исчезновенья,
С Востоком рядом — попросту словесность,
Он сон, который снится сну. (Известность —
Одна из разновидностей забвенья.)

Вечерний луч, тускнея на излете,
Касается покинутого тома,
И беглый свет скользит по золотому
Тиснению на ненужном переплете.

Безгласный том плывет по запустенью
Библиотеки через тьму почную,
Столетье за столетием минуя
И мой удел, мелькнувший как виденье.

Из сборника «ИНОЙ И ПРЕЖНИЙ» (1964)

КРУГ НОЧИ

Сильвине Бульрич¹

Об этом знали только питомцы Пифагора:
Судьба ведет по кругу и смертных, и светила;
Из атомов бессменных восстанет все, что было:
Златая Афродита, фиванцы и агора.

Ударит вновь копыто могучего кентавра,
Чтоб в будущем, как прежде, упал лапиф, и снова
Рим капнет, и раздастся в ночи многовековой
Из мерзкого зловонья степенье Минотавра.

Придет черед все той же бессоннице угрюмой.
Рука, что это пишет, родится вновь из лона
Того же. Полвселенной опустошат знамена.
(Подобные сужденья легко прочесть у Юма.)

Вернемся ль мы обратно все в той же давней роли,
Послушны, словно числа в периоде, — не знаю.
Но кругом Пифагора меня стезя ночная
Ведет на тот же угол, в знакомое до боли

Предместье, в дом далекий, куда ступаю робко.
И путь ли мне на север, на юг или к востоку, —
Там голубые стены, плита у водостока,
Смоковница густая и путаная тропка.

¹ Бульрич Паленке Сильвина (р. 1915) — аргентинская писательница, друг и соавтор Борхеса.

Там мой Буэнос-Айрес. Несущее мужчинам
Любовь и деньги, время мне дарит лишь виденья:
Угаснувшую розу, пикчемное сплетенье
Проулков, вдруг звучащих мне именем старинным,

Моим — Солер, Суарес, Лаприда и Кабрера.
И в отзвуках, плывущих почти потусторонне, —
Рассветы и побудки, республики и кони,
Счастливые победы и смерти с той же верой.

И площади зияют в полночном запустенье,
Как дворики в чертоге забытого владыки,
А улицы с их далью прямы и однолики,
Как коридоры смутных тревог и сновидений.

И снова ночь нисходит, любовь Анаксагора,
Чтоб вечность в смертном теле, как некогда, звучала
Бессменной строкою — конца или начала? —
«Об этом знали только питомцы Пифагора».

АЛЕКСАНДЕР СЕЛКИРК

Мне снится, что кругом — все то же море,
Но тает сон, развеян перезвоном,
Который славит по лугам зеленым
Английские спасительные зори.

Пять лет я замирал перед безмерной
И нелюдимой вечностью пустыни,
Чье наваждение пытаюсь ныне
Представить в лицах, обходя таверны.

Господь вернул мне этот мир богатый,
Где есть засовы, зеркала и даты,
И я уже не тот, сменивший имя,

Кто взгляд стремил к морскому окоему.
Но как мне весть подать тому, другому,
Что я спасен и здесь, между своими?

«ОДИССЕЯ», ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Уже завершена суровой сталью
Возмездья долгожданная работа
И наконечники копья и дрота
Гнилую кровь соперников достали.

Наперекор морям и их владыке
Улисс вернулся к берегам желанным —
Наперекор морям и ураганам
И богу брани в ярости и рыке.

Царица, успокоена любовью,
Уже, как раньше, делит изголовье
С царем, но где влачит судьбу земную

Тот, кто погожим днем и ночью темной
Бродил по миру, словно пес бездомный,
Никем себя прилюдно именуя?

О ЧЕТВЕРТОЙ СТИХИИ

Бог, стиснутый потомком коварного Атрея¹
На нелюдимом взморье, полуднем прокаленным,
Пантерой обращался, львом, деревом, драконом
И, наконец, водою. Вода сродни Протею.

¹ Царь Спарты Менелай заставил морского бога Протея предсказать ему судьбу («Одиссея», песнь IV, 450 и далее).

Она — в высокой сини бегущий клок белёсый,
Над сплюснутым предместьем закат в пол-окоема,
Ледовые воронки смертельного Мальштрема
И о тебе, ушедшей, беспомощные слезы.

В ней черпали начало в мифические лета
Огонь-всеразрушитель с Землею-роженицей
И боги дня и ночи, кануна и границы.
(Так думали Сенека и Фалес из Милета.)

И валуны, и волны, крушащие железный
Корабль, — всего лишь крохи из множества анафор;
А время, что разит нас, дабы уйти бесследно, —
Один пример из тысяч твоих, вода, метафор.

Под гиблыми ветрами и штормовую тучей
Ты — лабиринт, в чьих глубях без выхода и входа
Улисс в тоске по дому плурует год от года,
Минуя злую гибель и ненадежный случай.

Ты блещешь беспощадной арабскою чеканкой,
Как сон, скрывая чудищ под кротостью своею.
Тебя столетья славят, сокровищ не жалея,
И бег твой носит имя Евфрата или Ганга.

(Ганг очищает грешных водой своей святою,
Поскольку же течение смешало океаны,
А суша влагоносна, то, право, нет обмана
В том, что любой живущий омыт его водою.)

Де Куинси как-то видел, сойдя в свой мир бредовый:
Тебя мостили лица несчетных поколений;
Держavam и народам несла ты утоление,
В тебе омыт отец мой, как прежде — плоть Христова.

Молю, вода: пусть эти рассеянные звенья
Ненужных слов послужат мне тайною порукой,
Что Борхеса однажды припомнишь ты как друга
И освежишь мне губы в последнее мгновенье.

МАЛОМУ ПОЭТУ 1899 ГОДА

Найти строку для тягостной минуты,
Когда томит нас день, клонясь к закату,
Чтоб с именем твоим связали дату
Той тьмы и позолоты, — вот к чему ты
Стремился. С этой страстью потайною
Склонялся ты по вечерам над гранью
Стиха, что до кончины мирозданья
Лучиться должен той голубизною.
Чем кончил да и жил ли ты, не знаю,
Мой смутный брат, но пусть хоть на мгновенье,
Когда мне одиноко, из забвенья
Восстанет и мелькнет твоя сквозная
Тень посреди усталой вереницы
Слов, к чьим сплетеньям мой черед клониться.

БАЛЬТАСАР ГРАСИАН

Инверсии, меандры и эмблемы,
Труд, филигранный и никчемный разом, —
Вот что его иезуитский разум
Ценил в стихах — подобье стратагемы.

Не музыка жила в нем, а гербарий
Потрепанных софизмов и сравнений,
И перед хитроумьем преклоненье,
И превосходство над Творцом и тварью.

Не тронутый ни лирою Гомера,
Ни серебром и месяцем Марона,
Не видел он Эдипа вне закона
И Господа, распятого за веру.

И пышные восточные созвездья,
Встречающие утренние зори,

Прозвал, ехидничая и позоря,
«Несушками небесного поместья».

Он жил, ни божеской любви не зная,
Ни жгущей губы каждого мужчины,
Когда за звучною строфой Марино
К нему подкралась исподволь Косая.

Дальнейшая судьба его туманна:
Могильному гниению оставляя
Земную персть, вошла под кущи Рая
Душа скончавшегося Грасиана.

Что он почувствовал, перед собою
Увидев Архетипы и Блистанья?
Не зарыдал ли над пустой судьбою,
Признав: «Напрасны были все метанья?»

Что пережил, когда разверзло веки
Нешадным светом Истины небесной?
Быть может, перед богоданной бездной
Он отшатнулся и ослеп навеки?

Нет, было так: над мелочною темой
Склонился Грасиан, не видя Рая
И в памяти никчемной повторяя
Инверсии, меандры и эмблемы.

ТЕХАС

И здесь, как в южном полушарье, то же
Глухое поле без конца и края,
Где гаснет крик, в безлюдье замирая,
И тот же конь, аркан и краснокожий.
И здесь в недосягаемом безвестье
Сквозь гром столетий распевает птица,

Чтоб вечеру веки не забыться;
И здесь волхвуют письма созвездий,
Диктуют мне исполненные силы
Слова, которые из лабиринта
Несчетных дней спасутся: Сан-Хасинто
И Аламо¹, вторые Фермопилы.
И здесь все то же краткое, слепое
Мгновенье, что зовем своей судьбою.

НА ПОЛЯХ «БЕОВУЛЬФА»

Порою сам дивлюсь, что за стеченье
Причин подвигло к безнадежной цели —
Вникать, когда пути уже стемнели,
В суровые саксонские реченья.
Изношенная память, тратя силы,
Не держит повторяемое слово,
Похожая на жизнь мою, что снова
Ткет свой сюжет, привычный и постылый.
А может (мнится мне), душа в секрете
Хранит до срока свой удел бессмертный,
Но твердо знает, что ее безмерный
И прочный круг объемлет все на свете?
Вне строк и вне трудов стоит за гранью
Неисчерпаемое мирозданье.

САКС
(449 г.)

Уже зашел рогатый серпик лунный,
Когда опасливой стопою бóсой
Мужчина, грубый и рыжеволосый,
Свой след оттиснул на песчинках дюны.

¹ Места боев в ходе войны с Мексикой.

Окинул взглядом от приморской кромки
Белесый дол под черными хребтами
В тот первый час, когда Господь потемки
Не расцветил несчетными цветами.

Сакс был упорен. Над крутым уделом
Трудились плуг и весла, меч и сети.
И убивать привыкли руки эти,
И руны высекать резцом умелым.

Из края топей он пришел на земли,
Где волны сыплют пенными клоками,
И Рок, как небо, тяжкий свод подъямля,
Висел над ним и над его богами —

Насупленными Одним и Тором,
Которых он с толпою соплеменных
Сам украшал и жертвовал которым
Пернатых и собак, коней и пленных.

И в память павших или к чести мужа
Под стать клинку чеканя выраженья,
Он встречью героев звал сраженье
И встречей наконечников к тому же.

Вот мир его — мир колдовского моря,
Простор для королей, волков и мрака
Неумолимого, обитель страха
Священного, что ждет в сосновом боре.

Скупой словарь был прочного закала,
Шекспировскую музыку и пламя
Через века питая именами
Огня и влаги, краски и металла,

Войны и жажды, голода и славы,
Сна, горя, смерти и всего иного;
Его потомок заложил основы
Основ Британской будущей державы.

КЛИНКУ В ЙОРК-МИНСТЕРЕ

В нем чудится земное продолженье
Мужчины, что теперь — лишь горстка праха.
Воитель с тем мечом, не зная страха,
Шагал на смерть и принял поражение,

Но смерть попрал и так пришел к победе:
Вот он, литой норвежец белотелый,
Рожденный для геройского удела, —
Клинок — его подобье и наследье.

Над смертью и чужбиной торжествуя,
Он снова сталь сжимает роковую,
И рядом с беспощадной тенью тою

Я тень во тьме, не видимая глазом,
Я — пепел, не рожденный стать алмазом,
И вправду живо только прожитое.

ГОЛЕМ

Когда и впрямь (как знаем из «Кратила»)
Прообраз вещи — наименование,
То роза спит уже в ее названье,
Как в слове «Нил» струятся воды Нила.

Но имя есть, чьим гласным и согласным
Доверено быть тайнописью Бога,
И мощь Его покоится глубоко
В том начертанье — точном и ужасном.

Адам и звезды знали в куцах рая
То имя, что разъял налетом ржави
Грех (по ученью Каббалы), из яви
И памяти людей его стирая.

Но мир живет уловками людскими
С их простодушьем. И народ Завета,
Как знаем, даже заключенный в гетто,
Отыскивал развеянное имя.

И не о мучимых слепой гордыней
Прокрасться тенью в смутные анналы —
История вовек не забывала
О Старой Праге и ее равнине.

Желая знать скрываемое Богом,
Он занялся бессменным испытаньем
Букв и, приглядываясь к сочетаньям,
Сложил то Имя, бывшее Чертогом,

Ключами и Вратами — всем на свете,
Шепча его над куклой бессловесной,
Что сотворил, дабы открыть ей бездны
Письмен, Просторов и Тысячелетий.

А созданный глядел на окруженье,
С трудом разъяв дремотные ресницы,
И не поняв, что под рукой теснится,
Неловко сделал первое движенье.

Но (как и всякий) он попался в сети
Слов, чтобы в них плутать все безысходней:
«Потом» и «Прежде», «Завтра» и «Сегодня»,
«Я», «Ты», «Налево», «Вправо», «Те» и «Эти».

(Создатель, повинувшись высшей власти,
Творенью своему дал имя «Голем»,
О чем правдиво повествует Шодем¹ —
Смотри параграф надлежащей части.)

Учитель, наставляя истукана:
«Вот это бечева, а это — ноги», —
Пришел к тому, что — поздно или рано —
Отродье оказалось в синагоге.

Ошибся ль мастер в написанье Слова
Иль было так начертано от века,
Но силою наказа неземного
Остался нем питомец человека.

Двойник не человека, а собаки,
И не собаки, а безгласной вещи,
Он обращал свой взгляд нечеловечий
К учителю в священном полумраке.

И так был груб и дик обличьем Голем,
Что кот раввина юркнул в безопасный
Укром. (О том коте не пишет Шодем,
Но я его сквозь годы вижу ясно.)

К Отцу вздымая руки иступленно,
Отцовской веры набожною тенью
Он клал в тупом, потешном восхищенье
Нижайшие восточные поклоны.

Творец с испугом и любовью разом
Смотрел. И проносилось у раввина:
«Как я сумел зачать такого сына,
Беспомощности обрекая разум?»

¹ Шодем Гершом (1897—1982) — австрийский, позднее — израильский мыслитель, крупнейший исследователь каббалы.

Зачем к цепи, не знавшей о пределе,
Прибавил символ? Для чего беспечность
Дала мотку, чью нить расправит вечность,
Неведомые поводы и цели?»

В неверном свете храмины пустынной
Глядел на сына он с тоской глубокой...
О, если б нам проникнуть в чувства Бога,
Смотревшего на своего раввина!

СНОРРИ СТУРЛУСОН (1179—1241)

Ты, лед и пламя стародавней саги
Потомкам передавший в наставленье,
Ты, певший о величье поколений,
Откованных из стали и отваги,
Ты в сумерках, где назревала схватка,
Почувствовал, как уязвима эта
Живая плоть, в потемках без рассвета
Поняв, что сам — из робкого десятка.
Ночь над Исландией. В громах прибоя
Все злее буря. Ты застигнут дома.
Спасенья нет. Позору не забыться
Вовек. Бледнеешь ты. И над тобою
Взлетает сталь, сверкнувшая знакомо,
Как — помнишь? — на любой твоей странице.

ПОЭТУ ИЗ ПЛЕМЕНИ САКСОВ

Ты, телом — нынче прахом и распадом —
Как все из нас, обременявший мир,
Ты, славу солнца видевший воочью,
Ты, живший не окостенелым прошлым,
А вечным мигом — у последней кромки
Времен, на обморочной крутизне,

Ты, услышавший в монастырской келье
Трубящий глас эпических боев,
Ты, к слову ткавший слово,
Ты, слава Брунанбургское сраженье,
Триумф отдавший не Господней воле,
А верной стали своего вождя,
Ты, праздновавший в лютом исступленье
Позор побитых викингов, кровавый
И щедрый пир орлов и воронья,
Ты, одаривший воинскую оду
Сокровищами родовых метафор,
Ты, живший вне истории, глядясь
Через теперешнее и бывшее,
Сквозь кровь и пот на поле Брунанбурга
В глубь зеркала многовековых зорь,
Ты, Англии не пожалевший жизни,
Так это имя и не услышав, —
Теперь лишь горстка редкостных вокабул,
Которые тасует германист;
Теперь всего лишь мой далекий голос,
Бормочущий чеканные слова.
И я молю богов и времена:
Пусть прожитое скроется забвеньем
И я зовусь Никем, вослед Улиссу,
Но хоть строка переживет меня
Во мраке ночи, пестующем память,
И на заре, встающей для живых.

ЭМАНУЭЛЬ СВЕДЕНБОРГ

Заметно возвышаясь над толпою,
Он брел в толпе, чужой между чужими,
И потайное ангельское имя
Шептал. И видел въявь перед собою
Все, что закрыто от земного взгляда:
Круги огня, хрустальные палаты

Всевышнего и ужасы расплаты
В постыдном смерче наслаждений ада.
Он знал: обитель Рая и Геенны —
В душе, в сплетенье темных мифологий;
Знал, словно грек, что каждый день в итоге —
Лишь зеркало Извечности бессменной,
Начала и концы в сухой латыни
Невесть зачем запечатлев доныне.

ДЖОНАТАН ЭДВАРДС (1703—1785)

Покинув шумный город и бегущий
Поток времен — пустую скоротечность,
Он, замечтавшись, различает вечность
И входит в сень под золотые кущи.
День — тот же, что и завтра, и когда-то
Вчера. Но нет пустычной вещи малой,
Чтоб втайне пыл его не разжигала,
Как золото луны или заката.
Он счастлив, зная: мир — лишь меч Господней
Неотвратимой кары, и немного
Тех, кто достигнет горнего чертога,
Но чуть не всяк достоин преисподней.
И затаился в самом сердце чаши
Такой же узник — Бог, Паук молчалий.

ПАРИЖ, 1856

Болезнь его за годы приучила
К сознанью смерти. Он не мог из дому
Без страха выйти к уличному грому
И слиться с толпами. Уже без силы,
Недвижный Гейне представлял, старея,
Бег времени — неспешного потока,
Что разлучает с тьмою и жестокой

Судьбою человека и еврея.
Он думал о напевах, в нем когда-то
Звучавших, понимая обреченно:
Трель — собственность не птицы и не кроны,
А лет, скрывающихся без возврата.
И не спасут от ледяной угрозы
Твои закаты, соловьи и розы.

ЗАГАДКИ

Я, шепчущий сегодня эти строки,
Вдруг стану мертвым — воплощенной тайной,
Одним в безлюдной и необычайной
Вселенной, где не властны наши сроки.
Так утверждают мистики. Не знаю,
В Раю я окажусь или в геенне.
Пророчить не решусь. В извечной смене —
Второй Протей — история земная.
Какой бродячий лабиринт, какая
Зарница ожидает в заключенье,
Когда приду к концу круговращения,
Бесценный опыт смерти извлекая?
Хочу глотнуть забвенья ледяного
И быть всегда, но не собою снова.

ЧУЖАК

В святилище дремлет меч.
Я, один из священников храма, его никогда не видел.
Другие общины почитают бронзовые зеркала или камни.
Думаю, в давние годы их выбирали за редкость.
Говорю совершенно открыто: синтоизм —
самый свободный из культов.
Самый свободный и самый древний.
У нас есть старинные письмена, которых уже не видно.
Исповедовать синтоизм могут даже олени и росы.

Он учит трудиться как должно, но не предписывает морали.

Не утверждает, что каждый ткет себе свою карму.

Не устрашает мýкой и не подкупает наградой.

Его приверженцы вправе идти за Буддой
или за Иисусом.

Он почитает Императора и умерших.

Верит, что человек после смерти становится богом
и охраняет близких.

Верит, что дерево после смерти становится богом
и охраняет деревья.

Верит, что соль, вода и музыка очищают.

Верит, что божества неисчислимы.

Утром нас посетил старый поэт, слепой перуанец.

Сидя на галерее, мы делили с ним ветер из сада,
запах сырой земли и песнь пернатых божеств.

Через переводчика я толковал ему нашу веру.

Не берусь судить, что́ он понял.

Западные лица — как маски, по ним ничего
не заметишь.

Он обещал, вернувшись в Перу, вспомнить нашу беседу
в стихах.

Выполнил ли, не знаю.

Не знаю, сойдемся ли снова.

АЛХИМИК

Юнец, нечетко видимый за чадом,
И мыслями и бдениями стертый,
С зарей опять пронизывает взглядом
Бессонные жаровни и реторты.

Он знает втайне: золото живое,
Скользя Протеем, ждет его в итоге,
Нежданное, во прахе на дороге,
В стреле и луке с гулкой тетивой.

Но, так и не добравшись до секрета,
Что прячется за топью и звездою,
Он видит сон, где предстает водою
Все, как учил нас Фалес из Милета,

И сон, где неизменный и безмерный
Бог скрыт повсюду, как латинской прозой
Геометрично изъяснил Спиноза
В той книге недоступнее Аверна ¹...

Уже зарею небо просквозило,
И тают звезды на восточном склоне;
Алхимик размышляет о законе,
Связующем металлы и светила.

Но прежде чем заветное мгновенье
Придет, триумф над смертью знаменуя,
Алхимик-Бог вернет его земную
Персть в прах и тлен, в небытие, в забвенье.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Старик, почти что сношенный годами,
старик, уже не ждущий даже смерти
(нас убеждают цифрами смертей,
но каждый втайне думает, что первый,
единственный, окажется бессмертным),
старик, наученный благодарить
за нищенскую милостыню будней:
сон, обиход привычек, вкус воды,
блеск этимологической догадки,
строку латинян или древних саксов,
ее припомнившееся лицо,
но через столько лет,

¹ Аверн — место спуска в подземное царство Аида.

что время растворило даже горечь;
старик, постигший, что в любом из дней
грядущее смыкается с забвеньем,
старик, не раз обманывавший ближних
и ближними обманутый не раз,
внезапно чувствует на перекрестке
загадочную радость,
исток которой вовсе не надежда,
а, может быть, лишь простодушие детства,
она сама или незримый бог.

Он сознает, что жертва легковерья,
что тьма причин — страшнее всяких тигров! —
согласно коим он приговорен
поныне и навеки быть несчастным,
и все-таки смиренно принимает
миг радости, нежданную зарницу.

Должно быть, в нас и после нашей смерти,
когда и прах уже вернулся в прах,
останется все тот же непонятный
росток, в котором снова оживет
неумолимый или безмятежный,
неразделенный ад наш или рай.

К ИСПАНИИ

Неподвластная символам,
неподвластная помпе и праху празднеств,
неподвластная куцему зренью филологов,
находящих в истории нищего дворянина,
который грезил о Дон Кихоте и стал им в конце концов,
не веселость и дружелюбие,
а гербарий старинных форм и собрание поговорок, —
ты, молчащая наша Испания, в каждом из нас.
Испания диких быков, обреченных рухнуть
под топором или пульей

на закатных лугах где-нибудь в Монтане,
Испания, где Улисс спускался в царство Аида,
Испания кельтов, иберов, карфагенян и римлян,
Испания твердых вестготов,
питомцев Севера,
по складам разобравших и позабывших писанье
Ульфила¹,
пастуха народов,
Испания магометанина и каббалиста,
Испания «Темной ночи»²,
Испания инквизиторов,
несших каждый свой крест палача
и только поэтому не оказавшихся жертвами,
Испания той пятивековой авантюры,
что открыла моря, стерла кровавые царства
и продолжается здесь, в аргентинской столице,
этим июльским утром шестьдесят четвертого года,
Испания дикой, обрывающей струны,
а не нашей тихони гитары,
Испания дворики и балконы,
Испания стесанных верой камней в пещерах и храмах,
Испания братьев по чести и дружелюбью,
храбрецов без расчета, —
мы можем увлечься другими,
можем забыть тебя, как забываем себя вчерашних,
потому что ты неразрывна с нами,
с потайными пристрастиями крови,
со всеми Суаресами и Асеведо моей родословной,
Испания, мать потоков, клинков и бесчисленных
поколений,
неистошимый родник, единственная судьба.

¹ Ульфила (IV в.) — первый распространитель христианства среди германских племен, переводчик Библии.

² «Темная ночь» («Темная ночь души») — мистический трактат Сан Хуана де ла Круса (1542—1591), комментарий к стихотворению того же названия.

ЭЛЕГИЯ

Быть Борхесом — странная участь:
плавать по самым разным морям планеты
или по одному, но под разными именами,
быть в Цюрихе, в Эдинбурге, в обеих Кордовах —
Техасской и Колумбийской,
после многих поколений вернуться
в свои родовые земли —
Португалию, Андалусию и два-три графства,
где когда-то сошлись и смешали кровь датчане и саксы,
запутаться в красном и мирном лондонском лабиринте,
стареть в бесчисленных отраженьях,
безуспешно ловить взгляды мраморных статуй,
изучать литографии, энциклопедии, карты,
видеть все, что отпущено людям, —
смерть, непосильное утро,
равнину и робкие звезды,
а на самом деле видеть только одно —
лицо той девушки из столицы,
лицо, которое хочешь забыть навеки.
Быть Борхесом — странная участь,
впрочем, такая же, как твоя и любая другая.

ADAM CAST FORTH¹

Тот райский сад был грезой или бэлью?
Ответа жду за обступившей мглой,
Как утешенья: не было ль былое
Владение Адама (нынче — пыли)

¹ Адам отныне изгнан (англ.).

Лишь мыслью мне навеянного снами
Творца? Столетия бегут, стирая
Из памяти далекий отсвет рая,
И все ж он был, и есть, и будет с нами,

Пусть не для нас. Нам суждено иное:
Земля, где Каины идут войною
На Авелей, все ту же сея смуту.

Но верю: есть бесценная отрада —
Узнать любовь и тем коснуться Сада
Нетленного хотя бы на минуту.

ЕЩЕ РАЗ О ДАРАХ

Благодарение нерукотворному
Лабиринту причин и следствий
За многоликость
Этого дивного мира,
За разум, которому вечно снится
План собственного лабиринта,
За красоту Елены и упорство Улисса,
За любовь, дарящую нам другого,
Каким его видит Создатель,
За непокорный алмаз и послушную воду,
За алгебру, этот чертог скрупулезных кристаллов,
За таинственные монеты Ангелуса Силезиуса,
За Шопенгауэра,
Почти постигшего мир,
За блеск огня,
На который никто не в силах смотреть без тайного
страха,
За каобу, кедр и сандал,
За хлеб и за соль,

За таинство розы,
Цветоносной и неразличимой,
За несколько дней и ночей 1955 года,
За не знающих сноса парней, гонящих по равнине
Табуны и рассветы,
За утро в Монтевидео,
За искусство дружбы,
За часы перед смертью Сократа,
За слова, долетевшие в сумерках
От распятия к распятию.
За сон Востока длиною
В тысячу и одну ночь
И за другой — о геенне,
Очистительной огненной башне
И райских высотах,
За Сведенборга,
Говорящего с ангелами на лондонском перекрестке,
За тайные и позабытые реки,
Слившиеся во мне,
За язык, на котором столетия назад говорили
в Нортумбрии,
За меч и арфу древнего сакса,
За море — пылающую пустыню
И тайнопись мира, которого не познаем,
За музыку британской речи,
За музыку немецкой речи,
За золото, переливавшееся в стольких стихах,
За эпiku той зимы,
За название непрочитанной книги
“Gesta Dei per francos”¹,
За Верлена с его голубиным нравом,
За стеклянную призму и бронзовый разновесок,
За полосы тигриной шкуры,

¹ Деяния Господа силами франков (лат.) — записки о крестовом походе.

За небоскребы Манхэттена и Сан-Франциско,
За утро в Техасе,
За севильца, сочинившего «Поучительное посланье»
И предпочевшего остаться в веках безымянным,
За кордовцев Сенеку и Лукана,
До испанских грамматик уже создавших
Испанскую литературу,
За геометрию и причудливость шахмат,
За черепаху Зенона и атлас Ройса ¹,
За аптечный запах эвкалипта,
За язык, притворяющийся знанием,
За забвенье, которое рушит и преобразует былое,
За привычки —
Зеркала, которые нас передразнивают и подтверждают,
За утро с его иллюзией первоначала,
За ночь, ее мрак и созвездья,
За храбрость и счастье других,
За родину, скрытую в этом жасмине
И старой сабле,
За Уитмена и Франциска, уже написавших главные
строки,
За то, что строки неистоимы
И их — по числу живущих,
А последней не будет вовеки
И каждая неповторима,
За Фрэнсис Хейзлем ², просящую у детей прощенья,
Что никак не умрет,
За мгновения перед сном,
За сон и за смерть,
Эти два сокровенные клада,
За дорогие дары, которых не перечислил,
За музыку, этот загадочный образ времени.

¹ Ройс Джосая (1855—1916) — американский философ; в одном из своих трудов писал о карте Англии размером с саму Англию.

² Бабушка Борхеса по отцу.

СОЛДАТУ ИЗ АРМИИ ГЕНЕРАЛА ЛИ (1862)

Его шальнойю пулею убило
над безмятежною рекой, чье имя
он не узнал, упав. (Все так и было —
не с этим, так с несчетными другими.)
В медовом воздухе над ним склонилась
сосна, колышась. По щеке небритой
шел муравей походкой деловитой.
Светало. Столькое кругом сменилось
и сменится до той неразличимой
поры, когда спую о погребенном
тебе, не выдавшем себя ни стоном
и в смертный миг оставшемся мужчиной.
Твой памятник — не мрамор величавый:
шесть пядей праха стали мерой славы.

БУЭНОС-АЙРЕС

Когда-то я искал тебя, отрада,
Там, где сходились вечер и равнина
И холодок от кедров и жасмина
Дремал в саду за кованой оградой.
Ты был в Палермо¹, родине поверий
О временах кинжала и колоды,
И в отсветах пожухлой позолоты
На рукояти молотка у двери
В забытом доме. След твоей печати
Лежал в дворах, спускающихся к Югу,
В растущей тени, ползавшей по кругу
И медленно густевшей на закате.
Теперь во мне ты, ставший потайною
Моей судьбой — всем, что уйдет со мною.

¹ Предместье Буэнос-Айреса, квартал картежников и бандитов.

УМЕРШИЕ ГОЛОВОРЕЗЫ

Опять темнеют, под аркадой стоя,
в Июльском переулке эти тени,
с такими же тенями в столкновенье
или другою хищницей — нуждою.
Лишь солнце по окраинным кварталам
скользнет последним бликом рыжеватым,
они тут снова — со своим закатом
и верными подругой и кинжалом.
Они в любой частице нашей яви:
в гитарной ноте, рассказах, чеканке
лица, манере посвиста, осанке,
в убогих буднях и подспудной славе.
Во дворике с беседкой потайною
и профилем над дрогнувшей струною.

ЧИТАТЕЛИ

Я думаю о желтом человеке,
Худом идальго с колдовской судьбою,
Который в вечном ожиданье боя
Так и не вышел из библиотеки.
Вся хроника геройских походов
С хитросплетеньем правды и обмана
Не автору приснилась, а Кихано,
Оставшись хроникою сновидений.
Таков и мой удел. Я знаю: что-то
Погребено частицей заповедной
В библиотеке давней и бесследной,
Где в детстве я прочел про Дон Кихота.
Листает мальчик долгие страницы,
И явь ему неведомая снится.

Из сборника «ХВАЛА ТЬМЕ» (1969)

NEW ENGLAND, 1967

Иные сны ко мне приходят ныне:
передо мною кровель строй багряный,
и медь листвы тончайшего чекана,
и ясность зорь, и добрый жар в камине.
Как в день седьмой, земля по завершенью
прекрасна. Только мнится в полумраке
чуть слышный призывок боли и отваги —
старинный гул Писанья и сраженья.
Вот-вот (пророчат) нас засыплет снегом,
и Север здесь на всем лежит печатью,
но снова забываюсь на закате
своим бескрайним днем и кратким веком.
Бог весть, Буэнос-Айрес, для чего я
бреду сквозь годы той же мостовую.

ИЗРАИЛЬ

Он, бывший заключенным и изгоем,
он, обреченный на удел змеи —
хранительницы мерзостного клада,
он, Шейлоком оставшийся для всех,
он, преклоняющийся до земли,
чтоб вспоминать о прежних куцах Рая,
слепой старик, назначенный свалить
колонны храма,
лицо, приговоренное к личине,
он, все же ставший, всем наперекор,
Спинозою, Бал-Шемом, каббалистом,
Народом Книги,

устами, славящими из глубин
божественную справедливость неба,
дантист и адвокат,
беседовавший с Богом на вершине,
он, обреченный на удел отбросов
и мерзостей, судьбу еврея,
уничтожаемый огнем, камнями
и газом смертных камер,
отвоевавший трудное бессмертье
и сызнава бросающийся в бой
на беспощадный свет своей победы, —
прекрасный, словно лев в сиянье дня!

ИЮНЬ 1968 ГОДА

На золотистом закате
(или в пору покоя, чьим символом
мог бы стать золотистый закат)
человек расставляет тома
на привычные полки,
ощущая ткань, кожу, пергамент
и радость, которую дарят
соблюденье обычая
и водворенье порядка.
Два шотландца, Стивенсон с Лэнгом¹,
чудом возобновят
свой неспешный диспут, оборванный
морем и смертью,
а Рейеса² не покоробит
соседство Марона.

¹ Лэнг Эндрю (1844—1912) — английский (шотландский) писатель.

² Рейес Альфонсо (1889—1959) — мексиканский поэт, эссеист, литературный критик, друг Борхеса.

(Ставить книги на место — не значит ли это на свой тихий и скромный лад заниматься историей литературы?)

Человек — незрячий

и знает, что не прочтет

разбираемых дивных книг,

и они не помогут ему написать

единственно нужную книгу, оправданье всей жизни,

но на закате (наверное, золотистом)

он улыбается непостижимой судьбе

и ощущает редкое счастье —

круг старых милых вещей.

ХРАНИТЕЛЬ КНИГ

Вот они, рядом: сады, храмы и отражения храмов,

прямодушная музыка, прямодушные речи,

шестьдесят четыре гексаграммы,

обряды, единственная мудрость,

дарованная Небом человеку,

честь правителя, чья просветленность

воплощается в зеркале мира,

и поля приносят плоды,

а потоки чтят берега;

раненый единорог, возвращенный смертью к началу,

сокровенные вечные устои,

равновесие **мира**,

все это или память об этом — в книгах,

которые я стерегу, замурованный в башне.

Татары явились с севера

на длинногривых лошадках,

разгромили полки,

посланные Сыном Неба в наказание их бесчинства,

возвели пирамиды огня, раскроили глотки,

перерезали Праведных и недостойных,

перерезали рабов на цепи, охранявших ворота,
осквернили и бросили женщин
и направились к югу,
невинны, как звери
и беспощадны, как сабли.
На неверной заре
отец моего отца
сумел укрыть эти книги.
Вот они, в башне, где я похоронен,
вспоминают иное время,
древние и чужие.

Свет ко мне не доходит. Книжные полки
высоки, и моим годам не сравниться с ними.
Бесконечные пыль и сон обступают башню.
Так зачем лукавить с собою?
Я неграмотен, это правда,
но утешаюсь мыслью,
что воображение и память неразличимы,
если ты пережил себя,
видя все, что было столицей
и снова стало пустыней.
Так почему не представить,
что однажды и я чудом проникну в мудрость
и умелой рукой выведу вещие знаки?
Мое имя — Цзян. Я — стерегущий книги,
быть может, последние в мире,
ведь нам ничего не известно о Поднебесной
и Сыне Неба.
Вот они, рядом, на высоких полках,
недоступные и близкие книги,
сокровенные и ясные, как звезды.
Вот они, рядом, сады и храмы.

АСЕВЕДО

Поля, где предки правили когда-то,
Дав этим землям родовое имя,
Поля, так и не ставшие моими,
Хоть в мыслях... Я клонюсь к поре заката,
Но не был на валящем с ног просторе
Отчизны и суглинка, по которым
Скакал мой дед, окидывая взором
С седла бескрайние пути и зори.
Но я их видел в пустошах Айовы,
В кварталах Юга, в землях Иудей
И в тростниках далекой Галилеи,
Хранящих след босой ступни Христовой, —
Они везде. Они во мне — в забвеньи,
В желаньи каждом и в любом мгновеньи.

ДЖЕЙМСУ ДЖОЙСУ

Разбросаны в разбросанных столицах,
мы, одиноки и неисчислимы,
играли в первозданного Адама,
дарующего миру имени.
На склонах ночи,
у границ зари,
мы подбирали (помню и сегодня)
слова для новолуний, утр, смертей
и прочего людского обихода.
Делились на кубистов, имажистов,
чьи ереси и секты чтят сейчас
одни лишь легковверные студенты.
Мы отменяли знаки препинанья
и обходились без заглавных букв
в своих фигурных виршах — утешенье
библиотекарей Александрии.

И вот созданья наших рук — зола,
но распаленный пламень — наша вера.
А ты тогда,
в пристанищах изгнанья,
изгнанья, послужившего тебе
бесценным и чудовищным подспорьем,
закалкой для искусства,
сплетал ходы мудреных лабиринтов,
бесчисленных и бесконечно малых
в неподражаемой их нищете
и многолюдии анналов мира.
Мы все уйдем, но так и не достигнем
двуликой твари и бездонной розы,
которые нас в центре стерегут.
Но есть и от забвенья
свой оберег, Вергилиево эхо, —
и улицы живут ночами свет
твоих неугасимых преисподних,
походка фраз, нечаянность метафор
и золотая канувшая тень.
Что наша трусость, если на земле
есть хоть один, не испытанный страха?
Что вся печаль, когда за сотни лет
хотя б один признался в полном счастье?
И что потерянное поколение,
пожухнувшее зеркало, когда
его твои оправдывают книги?
Я — все они, все мы, кого спасла
твоя неукоснительная строгость,
чью жизнь твой труд невольно искупил.

ДВЕ ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «RITTER, TOD UND TEUFEL»¹

I

Под призрачным забралом — непреклонный
Лик, словно меч, неотвратно ждущий
В глубоких ножнах. Голой зимней пущей
Ведет свой путь, не дрогнув, этот конный.

Его тупые твари обступили
Толпою: Дьявол с рабыми глазами,
Седой старик с песочными часами
И лабиринты вьющихся рептилий.

Железный паладин на бездорожье,
Ты не запятнан слабостью и ложью
И свыкся с тяжелой долею землею —

Карать и править. Ты — само бесстрашье
И не отступишься, Германец, даже
Перед Погибелью и Сатанюю.

II

Есть два пути. Тот — гордого стального
Мужчины, скачущего на коне
Все с той же верой той же зимней пущей
Земли, среди гримас и неподвижных
Зловещих плясок Дьявола и Смерти, —
И краткий мой. В какой былой ночи,
С какой зарею давней я увидел
Впервые призрачную эпопею,

¹ Рыцарь. Смерть и Дьявол (нем.) — гравюра Дюрера (1513).

Сон Дюрера, продлившийся века,
Героя и толпу его подобий,
Что ищут, ждут и выследят — меня?
Меня, не латника, увещевает
Седой старик, увенчанный змеиным
Клубком. И та клепсида отмеряет
Мои часы, а не его бессмертье.
Я обречен стать сумраком и прахом,
Я, позже вышедший, прибуду первым
К концу. О, вовсе не существовавший
И грозный всадник с блещущим мечом
В непроходимой пуще, этот путь
Не кончится, покуда люди живы, —
Сновиденный, бестрепетный и вечный.

ЧИТАТЕЛЬ

Кто-то гордится каждой написанной книгой,
я — любую прочтенной.
Я не мечтал быть филологом,
погружаться в склоненья, залого,
кропотливые превращения звуков,
«д», перешедшее в «т»,
«г», замещенное «к»,
но пронес через все свои годы
любовь к языку.
Ночь со мной коротает Вергилий,
ведь желанье постичь, а потом позабыть латинский —
это род одержимости, а забвенье —
та же память, ее глухое подполье,
оборотная, скрытая сторона монеты.
Когда из слабеющих глаз исчезли
мои ненаглядные тени,
лица и строки,
я принялся учить стальное наречье,
язык отцов, на котором слагались гимны

клинку и взморью,
и теперь, через семь столетий,
из окраинной Фулы
до меня долетает твой голос, Снорри.
Юный читатель следует строгому порядку,
чтобы взамен получить столь же строгое знание;
а в мои лета всякий расчет — авантюра,
в шаге от скорой ночи.
Мне не постичь твоих древних речений, Север,
не окунуть ненасытных рук в твое золото, Сигурд;
мой замысел безграничен
и пройдет со мной до могилы, —
непостижимый, как мирозданье
и я, ученик за книгой.

Из сборника «ЗОЛОТО ТИГРОВ» (1972)

ТАМЕРЛАН¹
(1336—1405)

От мира этого моя держава:
Тюремщики, застенки и клинки —
Непревзойденный строй. Любое слово
Мое как сталь. Незримые сердца
Бесчисленных народов, не слыжавших
В своих далеких землях обо мне, —
Мое неотвратимое орудье.
Я, пастухом бродивший по степям,
Крепил мой стяг над персепольским валом
И подводил напиться скакунов
К теченью то ли Окса, то ли Ганги.
В час моего рожденья с высоты
Упал клинок с пророческой насечкой;
Я был и вечно буду тем клинком.
Я не щадил ни египтян, ни греков,
Губил неутомимые пространства
Руси набегами моих татар,
Я громоздил из черепов курганы,
Я впряг в свою повозку четырех
Царей, не павших в прах передо мною.
Я бросил в пламя посреди Алеппо
Божественный Коран, ту Книгу Книг,
Предвестье всех ночей и дней на свете.
Я, рыжий Тамерлан, сжимал своими
Руками Зенократию, юницу,

¹ Мой бедный Тамерлан прочел на исходе XIX века трагедию Кристофера Марло и один из бесчисленных учебников истории. — *Прим. автора.*

Безгрешную как горные снега.
Я помню медленные караваны
И тучи пыли над грядой песков,
Но помню законченные столицы
И прядки газа в темных кабаках.
Я знаю все и все могу. В чудесной,
Еще грядущей книге мне давно
Открыто, что умру, как все другие,
Но и в бескровных корчах повелю
Своим стрелкам во вражеское небо
Пустить лавину закаленных стрел
И небосклон завесить черным платом,
Чтоб знал любой живущий на земле:
И боги смертны. Я — все боги мира.
Пускай другие ищут гороскоп,
Буссоль и астрольбию в надежде
Найти себя. Я сам все звезды неба.
С зарей я удивляюсь, почему
Не покидаю этого застенка,
Не снисхожу к призывам и мольбам
Гремучего Востока. В снах я вижу
Рабов и чужаков: они Тимура
Касаются бестрепетной рукой
И уговаривают спать и на ночь
Отведать заколдованных лепешек
Успокоения и тишины.
Ищу клинок, но рядом нет его.
Ищу лицо, но в зеркале — чужос.
Теперь оно в осколках, я привязан.
Но почему-то я не вижу плах
И шей под вскинутыми топорами.
Все это мучит, но какой же прок
Мне, Тамерлану, им сопротивляться?
И Он, должно быть, вынужден терпеть.
Я — Тамерлан, царящий над закатом
И золотым восходом, но, однако...

ON HIS BLINDNESS¹

Без звезд, без птицы, что крылом чертила
По синеве, теперь от взгляда скрытой,
Без этих строчек (ключ от алфавита —
В руках других), без камня над могилой
Со скраденною сумерками датой,
Не различимой для зрачков усталых,
Без прежних роз, без золотых и алых
Безмолвных воинств каждого заката
Живу, но «Тысяча почей» со мною,
Чьих зорь и хлябей не лишен незрячий,
Со мной Уитмен, имена дарящий
Всему, что обитает под луною,
Забвения невидимые клады
И поздний луч непрошенной отрады.

БЫЛОЕ

Как все доступно, полагаем мы,
В податливом и непреложном прошлом:
Сократ, который выпив чашу яда,
Ведет беседу о путях души,
А голубая смерть уже крадется
По стынущим погам; неумолимый
Клинок, что брошен галлом на весы;
Рим, возложивший строгое ярмо
Гексаметра на долговечный мрамор
Наречья, в чьих осколках копошимся;
Хенгист со сворой, мерящей веслом
Бестрепетное Северное море,
Чтоб силой и отвагой заложить
Грядущую британскую державу;

¹ «К собственной слепоте» (англ.) — сонет Дж. Мильтона.

Саксонский вождь, который обещает
Семь стоп земли норвежскому вождю
И до захода солнца держит слово
В кровавой схватке; конники пустынь,
Которые топтали прах Востока
И угрожали куполам Руси;
Перс, повествующий о первой ночи
Из Тысячи, не ведая о том,
Что зачинает колдовскую книгу,
Которую века — за родом род —
Не отдадут безгласному забвенью;
Усердный Снорри в позабытой Фуле,
Спасаящий в неспешной полутьме
Или в ночи, когда не спит лишь память,
Богов и руны северных племен;
Безвестный Шопенгауэр, уже
Провидящий устройство мироздания;
Уитмен, в жалкой бруклинской газетке,
Где пахнет краскою и табаком,
Пришедший к исполинскому решению
Стать каждым из живущих на земле
И всех вместить в единственную книгу;
Убийца Авелино Арредондо,
Над Бордой в утреннем Монтевидео
Сдающийся полиции, клянясь,
Что подготовил дело в одиночку;
Солдат, в Нормандии нашедший смерть,
Солдат, нашедший гибель в Галилее. .
Но этого всего могло не быть
И, в общем, не было. Мы представляем
Их в нерушимом и едином прошлом,
А все вершится лишь сейчас, в просвете
Меж канувшим и предстоящим, в миг,
Когда клепсидра смаргивает каплю.
И призрачное прошлое — всего лишь
Музей недвижимых восковых фигур

И сонм литературных отражений,
Что заблудились в зеркалах времен.
Брен, Карл Двенадцатый и Эйрик Рыжий,
И этот день хранимы не твоим
Воспоминаньем, а своим бессмертьем.

ДЖОНУ КИТСУ (1795—1821)

С рожденья до безвременной могилы
Ты подчинялся красоте жестокой,
Стерегшей всюду, словно воля рока
И помощь случая. Она сквозила
В туманах Темзы, на полях издания
Античных мифов, в неизменной раме
Дней с их общедоступными дарами,
В словах, в прохожих, в поцелуях Фанни
Невозвратимых. О, недолговечный
Китс, нас оставивший на полуфразе —
В бессонном соловье и стройной вазе
Твое бессмертье, гость наш скоротечный.
Ты был огнем. И в памяти по праву
Не пеплом станешь, а самою славой.

ПОИСКИ

И вот три поколения прошли,
И я ступил в поместье Асеведо,
Моих далеких предков. Озираясь,
Я их следы искал в старинном доме,
Беленом и квадратном, в холодке
Двух галерей его, в растущей тени,
Ложась от межевых столбов,
В дошедшей через годы птичьей трели,
В дожде, скопившемся на плоской крыше,

В сгущающемся сумраке зеркал, —
Хоть в чем-то, им тогда принадлежавшем,
А нынче — недогадливому мне.
Я видел прутья кованой ограды,
Сдержавшей натиск одичалых пик,
Сквозящую на солнце крону пальмы,
Шотландских угольных быков, закат
И хвощ, разросшийся после владельцев.
Здесь было всё: опасность и клинок,
Геройство и жестокое изгнание.
Застыв в седле, царили надо всею
Равниной без начала и конца
Хозяева немеряных просторов —
Мигель, Тадео, Педро Паскуаль...
Но, может быть, загадочно и втайне,
Под этим кровом на один ночлег,
Возвысья надо временем и прахом,
Покинув зеркала воспоминаний,
Мы связаны и объединены,
Я — сном, они между собою — смертью.

RELIGIO MEDICI, 1643¹

Храни, Господь (не надо падежу
Приписывать буквального значенья:
Он — дань словам, фигура обращенья,
Что в пору страхов — ночью — вывожу).
Меня от самого меня храни,
Прошу словами Брауна, Монтеня
И одного испанца — эти тени
Еще со мною в сумрачные дни.
Храни меня от смертного стыда —
Лежать в веках никчемною плитою.

¹ «Вероисповедание врачевателя» (лат.) — книга английского барочного эрудита Томаса Брауна (1605—1681).

Храни, Господь, остаться тем же, кто я
Был в прошлом и пребуду навсегда.
Не от клинка, пронзающего плоть,
Но от надежд храни меня, Господь.

1971

Сегодня на Луну ступили двое.
Они — начало. Что слова поэта,
что сон и труд искусства перед этой
беспорной и немислимой судьбою?
В пылу и ужасе перед святыней,
наследники Уитмена ступили
в мир не тревожимой от века пыли,
все той же до Адама и поныне.
Эндимион, ласкающий сиянье,
крылатый конь, светящаяся сфера
Уэллса, детская моя химера —
сбылись. Их подвиг — общее деянье.
Сегодня каждый на земле храбрее
и окрыленней. Многочасовая
рутина дня исчезла, представая
свершеньями героев «Одиссеи», —
двух заколдованных друзей. Селена,
которую томящийся влюбленный
искал века в тоске неутоленной, —
им памятник, навечный и бесценный.

О МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВЕЩЕЙ

Мне снится пуританский небосвод,
Скупые одинокие созвездья,
Как будто Эмерсон на небосвод
Взирает из холодного Конкорда¹.

¹ Конкорд — селение в штате Массачусетс, место жительства Эмерсона и его друзей.

А в наших землях преизбыток звезд.
И человека преизбыток. Столько
Династий насекомых и пернатых,
Звездистых ягуаров, гибких змей,
Растущих и сливающихся веток,
Листвы и кофе, капель и песка,
Давящих с каждым утром, усложняя
Свой тонкий и бесцельный лабиринт!
А вдруг любой примятый муравей
Неповторим перед Творцом, избравшим
Его для воплощенья скрупулезных
Законов, движущих весь этот мир?
А если нет, тогда и мирозданье —
Сплошной изъян и тягостный хаос.
Все зеркала воды и полировки,
Все зеркала неистошимых снов,
Кораллы, мхи, жемчужницы и рыбы,
Маршруты черепахи сквозь века
И светляки лишь одного заката,
Все поколения араукарий,
Точеный шрифт, который не сотрет
Ночь со страницы, — все без исключенья
Отдельны и загадочны, как я,
Их тут смешавший. Не решусь изъять
Из мира ни Калигулу, ни лепру.

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Кастильское наречье — мой удел,
Колокола Франсиско де Кеведо,
Но в бесконечной кочевой ночи
Есть голоса отрадней и роднее.

Один из них достался мне в наследство —
Библейский и шекспировский язык,
А на другие не скупился случай,
Но вас, сокровища немецкой речи,
Я выбрал сам и много лет искал.
Сквозь лабиринт бессонниц и грамматик,
Непроходимой чащей склонений
И словарей, не твердых ни в одном
Оттенке, я прокладывал дорогу.
Писал я прежде, что в ночи со мной
Вергилий, а теперь могу добавить:
И Гельдерлин, и «Херувимский странник»¹.
Мне Гейне шлет нездешних соловьев
И Гете — смуту старческого сердца,
Его самозабвенье и корысть,
А Келлер — розу, вложенную в руку
Умершего, который их любил,
Но этого бутона не увидит.
Язык, ты главный труд своей отчизны
С ее любовью к сросшимся корням,
Зияньем гласных, звукописью, полной
Прилежными гекзаметрами греков
И ропотом родных ночей и пущ.
Ты рядом был не раз. И нынче, с кромки
Бессильных лет, мне видишься опять, —
Далекий, словно алгебра и месяц.

НАШЕСТВИЕ

Я тот, кто утром был среди своих.
Свернувшись в сумрачном углу пещеры,

¹ «Херувимский странник» — сборник стихотворных афоризмов немецкого поэта-мистика Иоганнеса Шефлера (1624—1677), известного под именем Ангелус Силезиус (Силезский Ангел).

Я жался, чтобы скрыться в непроглядных
Глубинах сна. Но призраки зверей
С обломками стрелы в кровавой пасти
Меня пугали в темноте. И чем-то,
Быть может, исполнением мольбы,
Агонией врага на крутосклоне,
Любовью или чудо-камнем ночь
Была отмечена. Теперь не помню.
Истершаяся за столетья память
Хранит лишь ночь и утро вслед за ней.
Я задыхался и дрожал. Внезапно
Послышался безмерный, тяжкий гул
Зарю пересекающего стада.
Я тут же бросил свой дубовый лук,
Колчан со стрелами и скрылся в тесной
Расселине в глухом конце пещеры.
И вот я их увидел. Пыша жаром,
Воздев рога и жутко дыбя шерсть,
Они чернели гривой и пронзали
Зрачкам. Всем им не было числа.
«Бизоны». — произнес я. Это слово
Еще не раздвигало губы мне,
Но я почувал — это их названье.
Я словно бы впервые видел мир,
Как будто разом и ослеп, и умер,
Дрожа перед бизонами зари.
Они являлись из зари. И были
Зарей. И пусть другие не сквернят
Тяжеловесную стремнину мощи
Священной, равнодушья и величья,
Невозмутимого, как ход светил.
Они смели собаку по дороге
И ровно то же было бы со мной.
Потом я вывел охрой и кармином
Их на стене. То были Божества
Мольбы и жертвы. Я ни разу в жизни

Не произнес названья «Альтамира»¹.
Не счесть моих обличей и смертей.

МОРЕ

Морская вечно юная стихия,
Где Одиссей скитается без срока
И тот другой, кого народ пророка
Зовет Синдбадом. Серые морские
Валы, что мерит взглядом Эйрик Рыжий
И воин, завершивший труд всей жизни —
Элегию и эпос об отчизне,
В далеком Гоа утопая в жиже².
Вал Трафальгара. Вал, что стал судьбою
Британцев с их историей кровавой.
Вал, за столетья обгаренный славой
В давно привычном иступленье боя.
Стихия, вновь катящая все те же
Валы вдоль бесконечных побережий.

1929

Когда-то солнце раньше достигало
Каморки, выходящей в дальний дворик;
Теперь многоэтажный новый дом
Ей застит свет, но в смутном полумраке
Непримечательный жилец проснулся
Задолго до рассвета. Не шумя,
Чтоб никого вокруг не потревожить,
Он тянет мате и послушно ждет.

¹ Альтамира — пещера в Испании с изображениями животных эпохи позднего палеолита.

² Имеется в виду португальский поэт Луис де Камозис, в 1553—1570 гг. служивший в Индии простым солдатом и работавший там над эпической поэмой «Лузнады».

Ненужный день, похожий на другие,
И жжение в желудке, как всегда.
Он думает, что женщин больше нет,
Как и друзей, которые приелись.
И он им — также. Их пустые толки
Невесть о чем, командах и голах...
Часы неразличимы. Он без спешки
Встает и бреется с необъяснимым
Старанием. Пока что слишком рано.
Глядящие из зеркала черты
Еще хранят былое превосходство.
Мы старимся быстрее наших лиц,—
Задумывается, но видит складки,
Седые усики, запавший рот.
За шляпу — и выходит. В вестибюле —
Газета. Пробегают заголовки:
Правительственный кризис в неких странах,
Безвестных и по имени. Но это
Вчерашний номер. Вот и слава Богу:
Нет смысла добираться до конца.
На улице заря с ее привычной
Химерой небывалой новизны
И криками бродячего торговца.
Он попусту слоняется весь день
По перекресткам в поисках забвенья,
Любуется на новые дома.
И вдруг... Какая странность... Ветер с Юга?
По Кордове (а некогда — Ривере)
Пускается, забыв, что столько лет
Он обходил ее. Верста, другая.
Он узнает перила галерей,
Решетку закругленного балкона
И глинобитный вал, цветным стеклом
Утыканный. Все прочее — чужое.
Пересекает тротуар. Смешки
Мальчишек. Он как будто их не слышит.

Потом идет все медленней. И вдруг
На месте застывает. Что такое?
Там, где пестреет вывеска кафе,
Стоял трактир «Король, валет и дама»
(То было полстолетия назад).
Там в карты он какому-то пройдохе
Однажды проигрался в пух и прах,
Но заподозрил, что его надули.
Тогда, не препираясь, он сказал:
— Вот деньги, до последнего сентаво,
Считай и выходи, поговорим.
Тот возразил, что я навряд ли сталью
Поправлю то, что в картах упустил.
Все небо было в тучах. Бенавидес
Мне одолжил свой нож. Мы бились долго.
Но в памяти остался только миг,
Застывший блик и хмель самозабвенья.
Я, кажется, нанес один удар
С размаху. И еще — на всякий случай.
И всё. Паденье тела и клинка.
Тогда лишь я почувствовал, что ранен
В запястье, а потом увидел кровь
И наконец-то выдавил из глотки
Ругательство, в котором все слилось:
Проклятье, торжество и облегченье.
Я долго жил и все-таки познал,
Что значит быть мужчиной и героем
Или, по крайней мере, стать таким
Хотя б на миг в невозвратимом прошлом.

К ИСЛАНДИИ

Из многих сказочных земель, какие
Трудил я — плоть со свитою теней,
Ты отдаленней всех и всех роднее,
Окраинная Фула кораблей,

Упорных плугов и надежных весел,
Развешанных рыбацких неводов,
Вечернего немеркнувшего света,
Который льется с самого утра,
И ветра в поисках истлевшей снасти
Ушедших викингов. Священный край,
Достойный страж германского наследья
И выкупленный клад его легенд
С железной чашею, железным волком
И парусником, пугалом богов,
Который сложен из ногтей умерших.
Исландия, ты столько снилась мне
С тех давних пор, как мой отец ребенку,
Каким я начал и закончу жизнь,
Дал утром перевод «Völsunga Saga»,
В которую сегодня, полутень,
С неспешными вникаю словарями.
Когда жильцу уже не рада плоть
И пламя никнет, скрадываясь пеплом,
Достойней кротко посвятить себя
Безмерному труду. Твое наречье
Избрал я, полуночную латынь,
Степями и морями полумира
Пришедшую в роскошный Цареград
И к девственным американским взморьям.
Мне цели не достичь, и ждут меня
Счастливые случайности исканий,
А не обманчивый заклятый плод.
То чувство знают все, кто предавался
Познанию звезд и числового ряда...
Любовь, неразделенная любовь.

МЕТАФОРА

Историк Снорри Стурлусон, чем только в своей путаной жизни не занимавшийся, составил в начале XII века толковый словарь традиционных оборотов исландской поэзии, из которого, к примеру, можно узнать, что «чайка вражды», «коршун крови» и «кровавый (или «красный») лебедь» обозначают ворона, «дом кита» или «снизка островов» — море, а «обитель зубов» — рот. Сплетаясь в стихах и держась стихом, эти метафоры вызывали (точнее — должны были вызывать) радость удивления, мы же теперь не находим в них живого чувства и считаем усложненными или излишними. Приемы символистов или последователей Марино постигла, уверен, та же судьба.

Бенедетто Кроче мог обвинять барочных поэтов и проповедников XVII столетия в «душевной холодности» и «не слишком остроумном остроумии»; мне же в перифразах, собранных Снорри, видится своего рода *reductio ad absurdum* любой попытки изобрести новые метафоры. Лугонес или Бодлер потерпели в этом, подозреваю, такой же крах, как придворные стихотворцы Исландии.

В третьей книге «Риторики» Аристотель заметил, что всякая метафора возникает из ощущения сходства между различными вещами. По Мидлтону Мерри (“Countries of the Mind”, II, 4), это сходство очевидно, просто мы его до поры не замечали. Как видим, для Аристотеля метафора коренится в реальности, а не в языке; обороты же, сохраненные для нас Снорри, рождены (или кажутся) работой ума, занятого не отысканием сходств, а соединением слов: какие-то (скажем, «красный лебедь» или «коршун крови») могут впечатлять, но ни сообщения, ни открытия в них нет. Это, если будет позволено так выразиться, вещи из слов — особые и самодостаточные, как зеркало или серебряное

кольцо. В самом деле: грамматик Ликофрон называет бога Геракла львом трех ночей¹, поскольку ночь, когда он был зачат Зевсом, длиною равнялась трем, — выражение помимо всяких толкований врезается в память, но, увы, не соответствует требованию Аристотеля.

В трактате «Ицзин» одно из имен мироздания — Десять Тысяч Существ. Помню, лет тридцать назад меня и моих сверстников поражало, до чего же поэты пренебрегают бесчисленными сочетаниями, таящимися в этом растворе, с маниакальным упорством сосредоточась на нескольких знаменитых парах: звезды и глаза, женщина и цветок, время и вода, старость и вечер, сон и смерть. Представленные (а вернее сказать — обобраные) в подобном соседстве, эти сочетания свелись к обыкновенным штампам; впрочем, лучше покажу это на нескольких конкретных примерах.

В Ветхом Завете (3 Цар. 2,10) сказано: «И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом». Терпя крушение, дунайские корабельщики на тонущем судне молились: «Дай мне уснуть, а проснувшись, взяться за весла»². Братом смерти именуют Сон в «Илиаде» Гомера — родство, засвидетельствованное, по Лессингу, на многих надгробьях. Обезьяной смерти (Affe des Todes) звал его Вильгельм Клемм, написавший: «Смерть — это первая спокойная ночь человека». Однако и до него Гейне говорил: «Смерть — прохладной ночи тень, жизнь — палящий летний день»... Ночью земли называл смерть Виньи; старым креслом-качалкой (old rockingchair) зовется она в блюзах — последний

¹ Ср. «орел с тремя крылами» — метафорическое обозначение стрелы в персидской литературе (Браун «История персидской литературы», III, 262). — *Прим. автора.*

² До нас дошла молитва и финикийских мореходов: «Мать Карфагена, возвращаю тебе весло»; судя по монетам II века до Р. Х., под Матерью Карфагена надо понимать Сидон. — *Прим. автора.*

сон, последний полуденный отдых негра. Не раз сравнивает смерть со сном и Шопенгауэр, приведу лишь эти слова (Welt als Wille, II, 41): «Сон для человека — что смерть для рода человеческого». Читатель, разумеется, уже вспомнил реплику Гамлета: «Умереть, уснуть и видеть сны, быть может», — и его страх перед беспощадностью сновидений в этом смертном сне.

Сравнение женщины с цветком — еще один образчик вечности (или банальности), вот лишь несколько примеров. «Я нарцисс Саронский, лилия долин», — говорит Суламифь в Песни Песней. В сказании о Мэт из четвертой «ветви» гэльского эпоса «Мабиногион» правитель ищет женщину иного мира, и кудесник «с помощью заклятий и чар создает ее из цветов дуба, цветов дрока и цветов ясеня». В пятой аванюре “*Nibelungenlied*” Зигфрид впервые видит Кримхильду, о которой нам тут же сообщают, что лицо ее сверкало румянцем розы. Вдохновленный Катуллом Ариост сравнивает девушку с сокровенным цветком (Orlando, I, 42); красноклювая птичка в Армидиных садах советует влюбленным поторопиться, чтобы этот цветок не увял напрасно (Jerusalemme, XVI, 13-15). В конце XVI столетия Малерб, пытаясь утешить потерявшего дочь друга, шлет ему в утешение знаменитые теперь слова: “*Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses*” («И, роза, отцвела в срок, отведенный розам»). Шекспир восхищается в саду глубоким багрецом роз и белизною лилий, но надо ли говорить, что вся их прелесть для него лишь бледная тень возлюбленной, которой нет рядом (Sonnets, XCVIII)? «Бог вместе с розами слепил меня», — роняет царица Самофракийская на одной из страниц Суинберна. Перечню, я чувствую, не будет конца¹, поэтому поставлю точку на сцене из “*Weig of Her-*

¹ Добавлю еще тонкий образ из знаменитых стихов Мильтона (P. L., IV, 263—271) о похищении Прозерпины и

miston", последней книги Стивенсона, где герой хотел бы знать, есть ли у Кристины душа «или она всего лишь розовощекий зверек».

Вначале я сопоставил десять примеров, потом — девять; быть может, их внутреннее единство не так бросается в глаза, как внешние различия. Кто бы, на самом деле, мог заранее сказать, что кресло-качалка и почивший с отцами своими Давид восходят к общему истоку?

Первому памятнику европейской литературы, «Илиаде», уже около трех тысяч лет. Почему не предположить, что за этот огромный промежуток времени все возможности глубокого и неотвратимого сходства (сновидения и жизни, сна и смерти, бегущих рек и дней и т. п.) так или иначе исчерпаны и запечатлены? Это отнюдь не значит, будто запас метафор пришел к концу: способность обнаруживать (или воображать) тайное сродство понятий, как бы там ни было, неистощима. Сила и слабость этих находок коренится в самих словах, и поразительная строчка Данте (*Purgatorio*, I, 13), где он сравнивает небо Востока с восточным камнем — незамутненным камнем, в чьем имени, по счастливой случайности, опять-таки скрыт Восток (*"Dolce color d'oriental zaffiro"*), прекрасна, чего не скажешь о стихе Гонгоры («Поэмы одиночества», I, 6) «В сапфирном поле звездные стада», который — на мой, разумеется, вкус — попросту груб и напыщен¹.

Когда-нибудь напишут историю метафор, и мы поймем, сколько истин и заблуждений таили в себе эти догадки.

вот эти строки Дарио: «Но я, как время ни сурово, // ищу любви, седоволос, // и ныне замираю снова // у входа в сад твой, полный роз». — *Прим. автора.*

¹ Оба стиха восходят к Писанию: «И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх. 24, 10). — *Прим. автора.*

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика 3

Из сборника «СОЗДАТЕЛЬ» (1960)

Луна	6
К портрету капитана из войск Кромвеля . . .	9
Другой тигр	10
Воспоминание о смерти полковника Франсис- ко Борхеса	11
Луису де Камоэнсу	12
Ода, написанная в 1960 году	12
Ариост и арабы	14

Из сборника «ИНОЙ И ПРЕЖНИЙ» (1964)

Круг ночи	18
Александр Селкирк	19
«Одиссея», песнь двадцать третья	20
О четвертой стихии	20
Малому поэту 1899 года	22
Бальтасар Грасиан	22
Техас	23
На полях «Беовульфа»	24
Сакс	24
Клинку в Йорк-Минстере	26
Голем	26
Снорри Стурлусон	29
Поэту из племени саксов	29
Эмануэль Сведенборг	30
Джонатан Эдвардс	31
Париж, 1856	31
Загадки	32
Чужак	32
Алхимик	33
Один из многих	34

К Испании	35
Элегия	37
Adam cast forth	37
Еще раз о дарах	38
Солдату из армии генерала Ли	41
Буэнос-Айрес	41
Умершие головорезы	42
Читатели	42

Из сборника «ХВАЛА ТЬМЕ» (1969)

New England, 1967	43
Израиль	43
Июнь 1968 года	44
Хранитель книг	45
Асеведо	47
Джеймсу Джойсу	47
Две вариации на тему "Ritter, Tod und Teu- fel"	49
Читатель	50

Из сборника «ЗОЛОТО ТИГРОВ» (1972)

Тамерлан	52
On his blindness	54
Былое	54
Джону Китсу	56
Поиски	56
Religio Medici	57
1971	58
О множественности вещей	58
К немецкой речи	59
Нашествие	60
Море	62
1929	62
К Исландии	64

МЕТАФОРА	66
--------------------	----

Тех. редактор Т. Селиверстова.
Сдано в набор 1.12.92. Подписано в печать 1.2.93.
Формат 60×84/32. Печать высокая.
Тираж 3000. Заказ 297. ТМК РФ.

